

Иван Александрович Вырыпаев

Июль

[http:// www.vyrypaev.ru](http://www.vyrypaev.ru)

Аннотация

«Июль» Ивана Вырыпаева... Это полный крови монолог шестидесятилетнего мужчины – безумца, убийцы и каннибала, – ушедшего из своей деревни после первого убийства в поисках «дурки» в городе Смоленске. «Июль» впитал многое от исступленных исповедей антигероев Достоевского до потоков сознания Джойса, Фолкнера, Ерофеева, даже Буковски. Есть в нем отголоски страшных сказок Афанасьева, чернушных анекдотов.

Ужас, смех, богоборчество и богоискательство, точно вывернутые наизнанку. Матерок, претенциозность, искренность и снова ужас. Литературные ассоциации, вязь бездонного словесного болота. Все связалось в этом «Июле» в единый узел. Текст будто выплевывается кровавыми ошметками...

Пресса – об «Июле» Ивана Вырыпаева:

«Первое чувство: омерзение. Второе: автор сошел с ума от свалившейся на него известности и стал легкой добычей беса переоценки. Третье: перед нами плод тяжелого заблуждения человека, жаждущего самоутвердиться любой ценой. И только потом, вне эмоций... возникает потребность разобраться в том, что произошло в "Июле"».

«"Июль" заставляет о многом задуматься в экзистенциальном смысле.» (В.Сорокин, писатель).

Иван Вырыпаев

Июль

Текст, для одного исполнителя
Исполнитель текста – женщина

Сгорел дом, а в доме две собаки.

Одна – черная, сука, дворняжка, а вторая – овчарка, полугодовалый кобель. Держал обеих в сарае, взаперти, чтобы они, не убежали, пока не доделаю забор вокруг дома, осталось то метров пять протянуть проволоки, и все готово, но тут, пожар, дом как картонка сгорел минут за двадцать, и сарай, и собаки, и все нажитое за долгие годы имущество, и документы, и деньги, и все мои планы на будущее, все обратилось в серый пепел, ничего не осталось, только я и июль месяц, посреди которого, и сотворилась со мною вся эта, беспощадная дребедень.

Будь ты проклят, паршивый июль, будь ты навеки проклят, месяц июль!

Я попросил Николая, моего соседа: – Дай, Коля, я у тебя поживу всего два месяца, пока что не соберу все документы на оформление в Смоленский дурдом. Всего два месяца, а там уже, как все справки и карточки мои восстановят, так сразу и переберусь на -постоянное– в смоленскую дурку, за это я ручаюсь, и клянусь богом, что больше чем на два месяца, я у тебя не приживусь. Но Коля, мой сосед, пенсионер-говноед со стажем, покрыл меня три раза матом, через свой, частокольный забор, и даже во двор не пустил, так что я стоял посреди улицы, обгаженный им с головы до ног, хотя, я, для него, еще буквально полгода назад, выпросил у нашего главы поселка, стальной трос, для Колиной шавки, чтобы она могла на цепи пристегнутой к тросу, который натянули через весь двор, бегать, и охранять, никому не нужные, пожитки, этого говнюка. И вот я пошел и все это устроил, и трос мне дали, в чем я и не сомневался, а говноосу этому, Кольке, никто и никогда, гвоздя бы не выдал, тем более уж наш глава поселка, у которого сиреневый понос течет из жопы, при одном только Колином

появлении на горизонте в районе досягаемости, главы нашего поселка, глаз. И тогда от накатившей на меня обиды, за несправедливость, и за матершину в мой адрес от этого пиздака, тогда, я перевалился через его не догнившую калитку, зашел, не стучась, в дом, застал этого говнослива посреди его кухни с пустой тарелкой в руках, видно, он собирался идти к кастрюле на плите, за супом, и схватив со стола, что первое подвернулось мне под руку, воткнул этот нож, говнососу этому прямо между губ, пробив его рот аж до самой шеи, чтобы он, сука, больше матерщиной из него не сыпал, когда не попадая, и потом еще, добил его ножкой от табурета, чтобы он уже, навсегда забыл, как обижать того, кто ему помогал, и выручал его, и выпрашивал, для его шавки, у главы нашего поселка, этот, уже поперек горла мне вставший, и проевший мне все последние нервы, никому, кроме, не дожившего до своего юбилея, покойника Николая, никому, кроме него, а теперь то уже и ему самому, не нужный, металлический трос.

Уже на второй день, после того, как я схоронил, убитого мною, Николая в его же погребке, шавка во дворе, на цепи привязанной к моему металлическому тросу, вдруг принялась подвывать, хотя я и кормил ее постоянно, хоть я и бросал ей вкусные куски в окно, но видно, эта шавка, что-то учуяла своим животным сердцем и затосковала по хозяину. А поскольку, я все это время скрывался в Колькиной избе, не подавая ни единого признака присутствия, то мне, ясное дело, вытье этой засраной шавки, здесь было совсем ни к чему, но поскольку тварь, эта неумная все выла и выла, и на покой не собиралась, то вот и пришлось мне, подкинуть ей мясца с мелко-толченым стеклом, так что уже к вечеру она рыгала кровью у своей будки, а наследующее утро, лежала в дальнем углу двора, словно по моему заказу, чтобы не никто не увидел с улицы, лежала в глубине двора окоченев, как и положено мертвецу. А я все еще не мог принять решения уйти ли мне из Колькиного дома, и отправится в Смоленск на сбор документов, для дурдома, или еще немного пересидеть, пока тут все не устаканится, и пока не угомонится в моей голове коровье ботало, которое уже вторую неделю, все звенит и звенит, в районе моего правого уха, и дозванивает мне аж до самого моего лысого затылка..Так что, будь он проклят, этот ненавистный враг мой, подлец июль!

На пятый день моего тайного пребывания в доме у Николая-покойника, появились перед самыми окнами, за частоколом соседские ребятишки, видимо по заданию родителей их, узнать, – не болеет ли деда Коля, – а то что-то его давно не видно? И вот тут, я признаться не на шутку стал подсерать, потому что, если бы еще один, малышонок пришел бы разузнать и зашел бы, ко мне, вовнутрь Коли-покойника избы, то я бы его тогда, тихонько, раз – в мешок, придавил бы, и дело бы с концами. Скинул бы мешочек с детским тельцем в погребок к деда Коле на мертвую грудь, а сам бы, как раз успел бы до автобуса на трассу к семи вечера, и пока бы мальчика хватились, пока бы орали, да плакали, я бы уже спокойно, подъезжал бы на рейсовом к самому Смоленску, но тут их, этих неумных дьяволят было аж шесть, и все, как на зло, разного полу и возрасту, так что совладать с ними уже мне никак было бы не под силу, и нужно было срочно принимать решение: либо в погреб – к Николаю преподобному-трупарию в объятия, либо сразу огородами к трассе на рейсовый до Смоленска как раз к семи.

Что же делать?

Как раз ровно к семи, я уже вышел на трассу, и автобус тоже появился без минутного опоздания, так что уже в половине девятого, я был на месте, в Смоленске, – большой городище, а идти таким как я некуда, и спать таким как я негде. И тут уже закон города един для всех – кто сильнее тот и прав. И я прав, потому что, я, применив свою силу, умение и ловкость, несмотря на то, что мне уже за шестьдесят два, и все равно, я взял, да и открутил голову подмостовому сироте-бомжу и скинул ее – голову, ну и туловище его, ясен хуй тоже, не себе же оставлять, скинул все эту заразу в реку, а место этого бомжика, его матрас и коробки под железнодорожным мостом, взял пока что себе, – чтобы, пока что мне здесь переспать, освоиться, осмотреться пару дней, а уже после, как наберу новых сил, тогда уже выйти из под моста в город, и начать искать заветный мой дурдом, так как я уже решил для себя, что сразу явлюсь туда, без всяких там справок и документов, и так как есть, напрямую, буду просить у них место, хотя бы на время, а возьмут на время, тогда я уже и на -постоянное-напрошусь, как в старой русской пословице: -лисичка только хвостик просила принять на лавочку, а как приняли хозяева ее хвостик на скамейку, так вдруг оказалась, что вся лиса уже целиком лежит на печи.

Целыми ночами и днями проезжали надо мною поезда, а на третий день моего жития под этим мостом, когда я уже от слабости, голода и шума поездов не мог ни руки поднять, ни ноги, на третий день, как в той самой пословице, словно из нее самой и вышла, явилась ко мне хитрожопая, ободранная лиса, правда, не лиса, а собака, но вести себя стала точь в точь, как та лиса из сказки, и сначала пристроила ко мне свой хвост на мои колени, а потом и вся целиком забралась на печь, прямо к лицу моему прижалась своим лишайным боком, и давай дышать, как будто ее надувают прямо сейчас мотоциклетным насосом. Долго я не смог терпеть этой наглости, и хотя, и сил то у меня не было, и хотя я уже три дня, как не вставал, не ел, и пил только дождь из пустой консервной банки, и все равно, я нашел что-то такое у себя внутри, где-то там, в области сердца и спины, что-то такое, что снова, вдруг, во мне возродило, жажду, еще пожить, а значит и чувство голода, да такого голода, что я как лежал на спине, так, не вставая и задушил псину прямо у себя на груди, а задушив ее, я прямо так не вставая взял да и съел почти добрую ее половину, начал с головы, а закончил на половине туши. И потом еще я почти пол дня лежал в луже собачьей крови, и как будто специально по сговору, ну конечно на самом то деле совпадение, за все то время, пока ел я пса, и потом половину дня, когда я лежал в теплых струях собачьей крови, за все это время, как будто специально по сговору, – над моей головой, по железнодорожному мосту, ни прошло, ни одного пассажирского поезда, ни одной самой жалкой электрички, ни грузового, ничего. Тихо. Тихо.

Я не вижу небо, надо мною мост.

Тихо.

Нет ни одного поезда. Тихо.

И в этой полной, звенящей коровьим боталом, тишине, я наконец-то поднялся с бомжачьего матраса, выбрался из кровавых картонных коробок, вышел из под железнодорожного моста, осмотрелся куда мне идти, и увидев церковь на холме, на окраине города Смоленска, решил пойти к ней, потому что, по моему разумению, именно там, в церкви христовой, люди как никакие другие, должны знать, где у них в городе находится дурдом.

Подойдя к Монастыревим воротам уже в полных тьмах, я сначала подумал: да это же не простая, обычная церковь, а целый монастырь, еби его в рот, – кто же меня сюда пустит то, в таком виде и в такое время?, но потом смотрю, – ворота у них открыты, захожу на ихнюю территорию, никого, смотрю церковь и там тоже двери настежь и никого. Захожу вовнутрь, тоже никого. Думаю: – ну все, – или это засада, или они вымерли, или их убили всех, или тогда, хуй его знает, че?!?. И с этими опасливыми мыслями я иду к алтарю, центральные ворота тоже настежь, я вхожу в алтарь, напрямки через -царские– так короче. И вот смотрю – стол, на нем скатерть, как бы из золота, но не золото, а явно подделка, потом слышу позади себя женский голос, слышу, что-то там кричит мне, вроде того, – что мне здесь нельзя, и кричит очень испуганно, как будто, я не обычно стою, а сру тут, посреди, ихнего пустого алтаря, но я не сру, а стою -обычно-, вот в чем нюанс. И тогда я оборачиваюсь, и вижу, ничего себе, – посреди церкви баба лет сорока, и у бабы этой, на лице отсутствует нос. Пригляделся еще раз, – нету. То есть он когда-то был, и следы его бывшего присутствия на ее лице еще не до конца стерлись но только теперь, этот нос неизвестно отчего, вдруг, растекся, по всей бабьей роже, как желтый парафин, и все лицо бабы этой залепил, превратив его в плоскую тарелку заляпанную лоснящимся восковым говном. Баба давай кричать на меня, побежала ко мне, я отпрянул от нее чуть вглубь от входа, баба остановилась и не идет дальше. Кричит, молится, пугает меня, но зайти ко мне сюда в алтарь не решается, то ли меня боится, то ли бога своего, который ее туда не пускает, а я уже сел на их стол с золотой скатертью и жду, когда она заткнется, эта баба, но у самого уже тоже, нервы стали потихонечку чесаться, но пока что жду. И хер его знает, чем бы там все закончилось, скорее всего, я бы эту бабу, как того пса под мостом, разломил бы на куски и съел, но тут, откуда неизвестно, явился поп в синей спортивной куртке, как городские носят, и в брюках тоже, городских, с лампасами, а на лице борода, поэтому я и понял, что он поп. -Поп «Июль», – это я так подумал в первую секунду, – поп Июль, – так я подумал, но потом уже, гораздо попозже, выяснилось, что этого попа не Июлем звали, а Мишей, но это уже все после выяснилось, когда уже нам по хую было на имена и фамилии.

Я 1950-го года рождения. И я несмотря, что уже седьмой десяток идет, я еще очень сильный: и волей, и мышцами, и взглядом. Когда мне полтинник справляли тринадцать лет

назад, я перед собою поставил нашу корову и у всех гостей на виду, с одного удара ей в голову, я ее повалил. Это не новость! Это не новость! Это не новость! Это не новость! Я знаю. Это не новость! Да знаю, я знаю, а зачем надо было кричать, что это не новость, я и сам знаю, что не новость, а ор то поднимать на все деревню, рот свой поганый открывать, зачем, я спрашиваю? И вот из-за того, что моя жена тогда, крикнула, что это не новость, корову повалить, только вот из-за того, что она крикнула. Не из-за слов ее, – что это не новость, – а только из-за нее самой, только из-за крика, я взял и ей, да так же, как и корове, в голову кулаком, взял и влез. Я это к тому, вспомнил, что теперь, когда тринадцать лет прошло, и я уже сильно конечно сдал, и вряд ли даже какую-нибудь болящую корову повалю, но все равно, чуть– чуть, а силы еще есть, по крайней мере, на отдельно взятого попа в штанах с лампасами, меня хватило. Он только, как схватил меня за воротник куртки, так я его руку сразу же и сломал, чуть ли не на две части. А потом уже и его самого, ногами своими прошел, как суровыми нитками фуфайку, и положил весь этот коврик из попа– июля перед дверьми в райский их алтарь. Ну, кстати, хорошо, что я ногами его решил потушить, потому что, если бы я есть его начал, то горло бы оттяпал и не выполнил бы, я после своего святого долга перед отцом Михаилом, никогда. Видно его бог, его тогда спас, ну и слава богу. Потому что, потом то, когда уже он очнулся, и завязалась у нас беседа, только тогда разговорившись только, я понял, что передо мною без четверти святой человек, еще раз, слава богу его, что он тогда в живых остался и поди только переломом руки то, тогда только то и отделался.

Пока поп лежал у входа в алтарь, я сидел не шелохнувшись, не в силах оторвать взгляд от безносой бабы, которая, не как обычно побежала бы в таких случаях баба с носом в милицию, а которая как только увидела, что я попа ее уложил в качестве коврика на полу, так она сразу же упала на колени, и давай молится тихим, тихим голосом, не к небу или к иконам обращаясь, а к кому-то, кто будто бы стоял прямо на границе «царских врат» ровно посреди, но там никого не было, пустота и все.

Поп встал, скривился от боли в руке, но не завалился в беспамятку, а наоборот, словно, эта боль в руке, ему силы придала, наоборот, – поп прямо ко мне подошел и прямо рядом со мной сел, прямо так, как будто мы сто лет уже старые друзья, а не так, как к человеку, который тебе руку сломал, и легкие с почками ногами отбил. Вот так он подошел, спокойно, и дружелюбно, и сел рядышком. А безносая баба увидев, что все у нас в порядке и мирно, сразу же встала с колен и ушла. И больше я на своем пути никогда уже безносых баб не встречал.

Прошел час или даже больше, а мы все говорили с попом-июлем, который, оказался Михаилом, все говорили, говорили, и никак не могли закончить наш разговор. Я почему-то сам не заметил, как случилось, стал рассказывать ему всю свою жизнь чуть ли не от рождения и до сего дня. И про случай с коровой рассказал, и про жену, как она была у меня два года сумасшедшая после моего удара по голове, и как она потом, вдруг, внезапно поумнела, попрощалась с нами со всеми и ушла, так что, до сих пор найти не можем, куда делась, никто знает. И как я троих сыновей произвел на свет, выносил, выкормил, на ноги поставил, теперь они, все трое в Архангельске работают дежурными, и жалоб на них еще не поступало.

Поп-июль, кстати, рассказал мне, почему у них все двери были на распашку, когда я вошел. Оказывается, у них в монастыре крыс травили. У них эпидемия заразных крыс приключилась, и инстанция им приказала травить, или конец, прикроют, навсегда всю эту их лавочку, так, что никакой господь не поможет. Вот они все тут и забрызгали отравой, и теперь проветривали, чтобы самим не сдохнуть. Я говорю попу-июлю: -Теперь то ты Михаил понимаешь, что я не виноват, что зашел без спроса в ваш алтарь? У кого мне спрашивать то было? У крыс? Так ведь вы же их всех отравили, душегубы, спросить даже не у кого?. Июль услышал мои доводы, и согласился с ними. А потом уже вообще подвиги стал совершать, – лезь, -говорит, – под стол в алтаре, и прячься там. А я уже так попал под его очарование, это такой прекрасный, мужик этот Июль Отец Михаил оказался, что я уже все для него готов был сделать. Ну и конечно, залез, под стол в алтаре, и только я залез туда, как полная церковь охранников понабежала, вязать меня приехали, чтобы расстрелять, на месте, но хер, им тут. Отец-июль, стал охранникам, говорить, что мол, – поздно они все сюда понабежали, что пока они добирались, псих этот, то есть я, убежал уже и ищите его теперь, где хотите, а храм божий покиньте. Вот каким человеком этот Июль, оказался. Июль– месяц герой!

Три месяца я, тайно жил у отца Михаила под кроватью. На улицу из его кельи выходил только ночью, днем, пока отца Михаила нет, я лежал на его кровати и читал книжки, которые он мне велел, а ночью, когда отец Михаил уже спал, я сидел на крыльце его кельи, и думал. Три месяца, каждую ночь, я сидел и думал, я думал, и я однажды, когда, я вдруг, додумался, до того, до чего хотел, я разбудил отца Михаила и задал ему вопрос, который тщательно подготовил: -Михаил Валерьевич, – я к этому моменту уже так его возвысил в своих глазах, что обращался к нему, только по отчеству, хотя отец Михаил был младше меня, на тридцать четыре года, – Михаил Валерьевич, скажите, – невинно и страдальчески убиенный священник, попадает в рай или в ад?? Он ответил, – что в рай, но оговорился, что только в том, случае, если этот священник, действительно невинен, и убит без всякой вины с его стороны. Мне этого ответа вполне хватило, и книжки, которые я, насилуя себя читал, по приказу отца Михаила, эти книжки тоже были на моей стороне. Я люблю вас поп-июль. Вы святой, и вы достойны рая, как никто из других. И чтобы уже все было сделано наверняка, я еще часа четыре резал его на мелкие части, доставляя очевидно невиданные мучения, но делая это так, чтобы отец Михаил не потерял сознание и страдал в здравом уме и трезвой памяти. На рассвете отец Михаил должно быть уже был в раю. Я сложил части его тела в черный полиэтиленовый мешок, для мусора, взвалил мешок на плечо, вышел из кельи, и направился к храму.

Шел месяц июль, зима уже приближалась к весне.

В церкви, к этому часу не было никого, кроме рослого алтарного ангела который, там вечно. Я зашел в алтарь через боковую дверь, и стараясь не обращать внимание на ангела, стал доставать части тела отца Михаила, и аккуратно раскладывать их на столе. Выложив все, что было, я свернул пакет, для мусора в маленький черный комок, и двинулся к выходу. Но перед тем, как выйти из алтаря, я оглянулся на ангела, он стоял неподвижно, на том же месте, где и всегда, строго по центру, лицом к закрытым «царским вратам». Он всегда так стоит. За эти три месяца, я не раз заходил в церковь ночью, и он всегда стоял на том же самом месте, абсолютно неподвижно, но при этом в его фигуре не было ни намека на напряжение. Я посмотрел на ангела, открыл дверь, чтобы выйти из алтаря, и вдруг, я услышал мягкий, почти что, детский голос: -Это не новость?, – сказал ангел, и это был первый и последний случай в моей жизни, когда я слышал голос ангела. И это вообще был последний голос, который я слышал, и это был последний звук, который слышали мои уши, потому что, почти в ту же секунду, сразу же, после слов ангела, сразу же, как после того, как он отвернулся он меня, я получил огромной силы удар в затылок, и все звуки исчезли. И там, конечно, кроме слуха, я лишился половины, если не больше, всех своих органов, потому что, били меня, до тех пор, пока я не стал, куском красного фарша. Но именно слуха, я лишился от самого первого удара. Друг отца Михаила, иеромонах отец Григорий, зашел в келью, увидел всю кровь, побежал по следу, ворвался в алтарь в тот момент, когда ангел договорил фразу и отвернулся, к этому моменту в руках у отца Григория уже был лом, которым по утрам долбят лед со ступеней церкви, тупым концом этого лома, отец Григорий не задумываясь, въехал в мой затылок, навсегда отключив звук, а уже потом, меня били, сперва работники монастыря, но не монахи, конечно, потом приехал смоленский ОМОН, но я уже этого не помню, конечно, что там было. В следующий раз, я увидел себя спустя несколько месяцев, я почти три месяца пролежал в коме, в антисанитарных условиях, потому что мною уже никто, конечно, не занимался, и я гнил, как подмокшая картошка в погребе, но вот бог его знает, почему, я вдруг, в один прекрасный момент, взял, да и пришел в себя, а потом еще, взял да и пошел на поправку, к всеобщему сожалению, потому что теперь за мной нужно было, хоть как-то следить: надевать на лицо металлический намордник, водить меня в цепях, убирать за мной кал и мочу. Словом, вот вам и июль месяц, середина лета, а ни одного солнечного дня.

И так, как мне теперь все никак не распознать, где моя кровь, течет по моей голове и моим венам, а где чужие мысли-уколы, скользят по красной, внутри рук и ног по красной внутренней крови, внутри меня, из-за, а точнее виной этому – уколы, уколы, которые словно чужие пчелы, но только без последствия меда, а последствия меда, здесь точно ждать не приходится, потому что, здесь меда нет. В июле нет меда. Нет и ничего не поделать, нет меда и все. В июле меда нет.

– Это кто там, отстегнул, меня, кто это там, отстегнул меня от моей койки, кто, меня

отстегнул и не побоялся, кто это там у нас такой смелый, ну-ка кто это такой, а?

– Я

– А я пока что не вижу. Кто?

– Я. Посмотри наверх, и все поймешь.

Я посмотрел туда куда велели – наверх, а там, только белая простыня да дыры, и никого.

– Кто ты? Отвечай, кто ты? Ты кто?

– А ты посмотри наверх, – снова обратился ко мне, – посмотри наверх, – раз восемь, а то и девять раз подряд, повторил он.

– Нет там никого. Кто ты? Я же смотрю наверх, кто ты? Я же смотрю. Ты кто?

И я стал смотреть и смотреть, смотрел и смотрел. Наверх. Смотрел и смотрел, – и никого.

Кто это говорит, кто?

Никого.

– Я.

– Кто это говорит, кто?

– А ты посмотри наверх, – это я.

И давай, все одно и тоже, уговоры, да одни и те же уговоры. И давай все одни и те же уговоры.

И уговоры. И уговоры. И все одно и то же. И я взял да и посмотрел.

А смотрел-то я и раньше, конечно, но не видел, вот в чем страх.

Смотрел-то я и раньше, а увидел-то..., вот в чем страх

– И кто ты, паук-безпятиминутбезшерсти, ну кто ты, на моем потолке, паук, ну и кто ты?

– Я.

– Что, я не расслышал, кто?

– Я, – произнес он тише прежнего, а я все равно, расслышал каждую букву.

– Кто?

– Я это, я. Видишь, кто? Я. Это я, – еще тише вслух, но еще громче в моем спинном мозге, зазвучало его эхо, – я это, я, – звучало, – я, это я.

– На!, – кинулся и ударил его, раза три, или два, ударил его, или раз пять, ударил, да вот и все. Пяти и трех, а то и двух мои ударов, здесь вполне оказалось достаточно, этому пауку-Я, чтобы он со своего облезлого потолка, рухнул, что есть веса, на мой деревянный пол, и тогда уже, позволил, наконец-то, и мне, вернуться в прежнее мое состояние, и топтать, ногами и руками своими топтать, втирая в черный пол, нахального этого паука-я, топтать и не перетоптать, я-паука, ибо, это я– паука и есть. Я это и есть, безпятиминутшерсть. И на этом все.

И вот, спустя, такого пребывания с месяца три, а то и четыре, а если с пауком учитывать, да с уколами, то и все шесть лет, – лет, конечно, лет, потому что о годах, а не о месяцах уже, давным-давно идет речь. И вот спустя, шесть, вместе с пауком, уколами, да и мною, и вот все эти шесть лет, спустя, и плюс, кровь из носа больше не идет по утрам, вот спустя все это, я вдруг, очнулся, встал, потянулся, зевая ртом, вышел, и вот, только меня и видели, вот так. И уже больше меня уже не видели, хотя тело то мое, как и прежде валялось на кровати, тело то может и валялось, а я ушел. Вот так.

Ремарка

На сцене, представляющей из себя, обычную ледовую арену, появляется Жанна (из моего детства) М., и это точно она, потому что, я умираю, умираю, а она скользит и скользит по льду моя Жанна М. Действие пьесы на секунду останавливается, и снова продолжается, спустя секунду. И мы: Жанна М., я и все остальное, все мы скользим по ледовой арене, по кругу, – а под ногами у нас лед и прочный лед, лед и очень прочный лед, вот и все. Место действия: каток зимой или каток летом, когда вместо льда бетон, или совсем без катка, или искусственный лед осенью, а если не так, то тогда, есть мед в июле, беру свои слова обратно, – и есть мед в июле, раз не можете пойти дальше, так как еще не ходили, тогда – есть мед в июле, хотя уже ранее, совсем обратно (для тех, только, кто пойдет) было сказано: – В июле меда нет?.

Жанна из моего детства М., – как вошла ко мне, туда, где я лежал в цепях и оковах из смиренных рукавов и кожаных ремней, как вошла ко мне в душную вонючую комнату, так сразу же и задала свой первый вопрос:

– Будешь писать?

А я не слышу, глухой, не слышу, – звука то нет в моей голове, а по губам то, я еще не научился, поэтому то, я и не знаю, о чем она. Вижу, что ко мне, но о чем это, не знаю о чем это она, пока еще не догадываюсь, о чем это она мне, пока еще не догадываюсь, и все тут.

– Будешь?

– А кто это ты?, – все еще, пока еще не догадываюсь я.

– Будешь или нет писать, я тебя спрашиваю, отвечай?

– О чем это ты?, – не догадываюсь и все тут. Но звука пока не издаю, как будто я не только глухой, но и немой, хотя, она, наверняка, в карточке моей медицинской прочитала, что я могу говорить.

– Ну и сри под себя, если ты дурак, а если умный, то сри в таз, кто тебе еще то, кроме меня, таз предложит, пользуйся, пока я здесь, а то, так и будешь весь в говне, и внутри и снаружи, свинья!

А лица моего она не видит, потому что, у меня на лице маска хоккейного вратаря (только шайбы не дождешься, – в дурдоме шайбы нет) и тела она моего не видит, потому что, на мне белая, белая рубашка, коричневая от поноса и соплей, а рукава, как у подарка, на день рождения, завязаны бантом за спиной. И ног она моих не видит, – а ее ноги вижу, и что я понял? – Пиздец, это какие странные ноги! Пиздец, это какая любовь, это моя какая любовь, а вовсе, не медсестра, – вот что с первого взгляда на Жанну М. понял я. Вот и пришла любовь! – с первого взгляда на странные ноги Жанны М., понял я.

– Я знаю, что ты все слышишь, пиздеть то не надо, медсестре или врачу своему пизди, а я тебе не медицинский работник из твоего дурдома, мне то ты не заливай, про «не слышу», все ты слышишь. И все ты знаешь. И кто я знаешь, и зачем, и что здесь. Так что, сри давай в таз, и не прикидывайся глухим придурком, это ты дежврачу и санитарам нашим будешь изображать, глухого обосранного маньяка, а со мной не смей. Сри в таз, пока я не передумала, а то щас уйду, и ты еще шесть лет будешь в говне и моче своей валяться, сри, животное, пока дают тебе человеческий таз.

Я говорю ей: – Раздень, меня, раздень, а? Я тебя очень, очень прошу, раздень!?.

И это были первые мои слова за все это время. За шесть лет, я ни буквы не произнес вслух, ни единой буквы вслух, хотя и мог бы, ведь язык то у меня на месте – во рту. И глухота то моя, не помеха, для букв и звуков (глухой – не немой), но я не звука, ни писка, не стона, не издал. Шесть лет, я лежал привязанный к кровати или сидел пристегнутый к металлической скобе вделанной в стену в моей камере, шесть лет пролетело, как один день, закрыл глаза во вторник, а открыл в среду, и ни звука, тишина вторника перешла в тишину среды. Или, если и было что, то только без моей воли, без моего желания. Или, если и произносил я буквы и издавал звуки, то сам этого не помню, и рта я сознательно не открывал, а если и говорил что-нибудь или стонал, то все это без меня происходило, потому что шесть с небольшим лет, меня здесь не было, не было меня самого, в себе самом. Шесть лет и полтора месяца меня не было, а значит, и голоса моего не было (а если и был, то не мой), и дыхание (то же не мое), если и выходило из моего рта, то я к этому не имею никакого отношения, потому что, хоть тело и здесь лежало на койке, в тюремной психушке, но душа то, зато, была совсем, совсем в другом месте. Тело в говне, на койке, в отстойнике, для конченных психов, а душа все шесть лет, на ледовой арене выступала, то на искусственном льду, то на натуральном, каталась на двойных коньках выпускаемых в городе Архангельске, где, кстати, три сына моих работают дежурными, и еще ни одной жалобы на них не поступало. Значит, хорошо они дежурят, без компромисса и халтуры!

Ну и Жанна М., конечно, оторопела, оторопью девственницы, при первом изнасиловании в темном переулке, пятью мужского пола существами, услышав самые настоящие буквы вырвавшиеся из моего рта. Еще бы, такое событие, – шесть лет маньяк и убийца молчал и срал под себя, и вдруг, на тебе, – заговорил. Вот так событие! И хотя Жанна, эта М., всего, как потом мы с ней разговорившись выяснили, всего первый день, как вышла на работу в этом дурдоме (бедность, кого угодно заставит выносить говно за психами, тем более если ребенок детсадовского возраста дома ждет, а мужа, как не было с самого начала, так и нет), и меня, она, конечно, все эти шесть лет не наблюдала (она ведь, все эти годы, работала в разных магазинах кассирами и продавцами, пока ее отовсюду не по увольняли по разным причинам, так что когда

это место, говнотаскалки в тюремном дурдоме подвернулось, она уже рада прирада была – лишь бы ее сынок садиковского возраста не потух бы от китайской лапши быстрого приготовления, ну и что, что психи, а говна она и подавно не боялась), поэтому меня то она, не видела, как я спал тут не приходя в сознание шесть лет и полтора месяца (но не я, конечно, а мое тело, я то, как уже сказано было, царапал астральными своими коньками подсознательный лед, где-то далеко, далеко, на самом далеком, в самом потаенном месте моего головного мозга, искусственном катке), и вот хотя эта Жанна М., первый раз, вошла в этот день, ко мне в комнату вони и вакуума, называемое в этом дурдоме палатой, а на самом деле, это была камера, два на два, с койкой, облепленной моим говном, словно церковный колокол глиной, при его отливе, но ее, конечно, уже первым делом предупредили, кто я и что я. Ну, и конечно, никому, даже дежврачу (о котором, я потом уже узнал, что он без четверти святой человек, беднякам и наркоманам подающий щедрую милостыню) никому, и в голову не пришло бы, что такой, вот, кусок шестилетнего полуразложившегося говна, вдруг, способен сориентироваться в пространстве, да еще и заговорить. Но я, вдруг, сориентировался и заговорил.

– Раздень меня, я прошу тебя, раздень.

– Это ты сейчас кому сказал, мне?

– Сними с меня или с себя с ними, потому что так больше нельзя.

– Знаешь, что у меня есть?, – разговаривает со мной Жанна, – знаешь, что у меня, для тебя есть? У меня есть таз. Таз, для твоего говна, знаешь, что такое говно?

– Или себя раздень. Меня раздень или себя, кого хочешь. Ты кого хочешь, меня или себя?

– Знаешь, кто ты?

– Вот и июль вторая половина, а дождей все нет, и не дождешься.

– А я кто, знаешь, или мне дежурного врача позвать? Знаешь, кто это такой «дежурный врач»? Советую быстрее вспоминать, а то он тебе такой, тебе укол поставит, что ты еще шесть лет будешь, гнить тут в собственной моче и кале, и, скорее всего, не шесть, а вообще никогда уже не проснешься, кто я? Знаешь, кто я? Отвечай, или прощай твой единственный шанс, встать на ноги и посмотреть в окно.

– Ты Жанна М.

– Правильно. А ты? Отвечай, а то позову врача, и твоему выздоровлению, конец.

– Раздень меня, пожалуйста, или сама разденься.

– То-то. Можешь, когда хочешь. А краткое имя у тебя Петр. А сколько тебе лет, Петр, ты помнишь?

– Да, помню, шестьдесят три. Я 1950-го года рождения, у меня всего лишь тринадцать лет назад был юбилей.

– Ладно, раз ты ко мне навстречу, то и я к тебе. Раздену.

Ремарка

И вот, уже Неля (потому что женщину эту на самом деле зовут Неля, а не Жанна, и она не из детства и не М., а она, из другой, совсем другой жизни, Неля и фамилия ее начинается на Д, хотя, какое это имеет значение, как, кого зовут в действительности, потому что, будь ты хоть трижды Неля Д, из взрослой жизни, но если приняли тебя, как Жанну из детства М, то так оно и есть в настоящий момент. Кого кем называют, тот тем и является, и вопрос этот закрыт), подходит эта Неля Д, названная М. Жанной, к Петру лежащему на кровати посреди замершего озера (в больничной палате), и снимает с него намордник, и отстегивает его руки от спинок койки, и снимает с него всю одежду. И вот, Петр абсолютно голый, такой, каким он и появился когда-то на свет. И вот они уже и не на льду, а на ровной поверхности из бетона. Бетон и бетон, куда не помотришь, направо или налево, везде серый бетон, и больше ничего. Голый Петр и тридцатипятилетняя Неля со странными ногами, и бетон. А коньки наши, можно теперь уже смело убирать на антресоли, потому что, в ближайшие шесть лет, они нам уже точно не пригодятся. На бетоне мы кататься не будем, нам нужен лед.

О чем я подумал, в самую первую секунду, как все это случилось? Я подумал об очень многом. За одну всего лишь секунду, сто пятьдесят тысяч мыслей пронеслось на специальных роликах, по моему бетонному покрытию в районе затылка (там у меня бетон, на затылке, а в районе лба, у меня мягкий пенопласт). Огромное количество мыслей, ну если и даже и не сто пятьдесят, то, по крайней мере, три:

Первая мысль:

Съесть эту мою Жанну М. полностью и целиком, а то ведь, все равно, скоро прикуют обратно к кровати, а скорее всего, и совсем убьют, церемонится то не станут, а так, она хотя бы будет у меня внутри, моя Жанна М, и ноги ее странные, и по-моему вкусу, ее груди. Мужчина, ведь тем и ценен, что берет женщину, и несет ее в себе до самого конца, пока не умрет она или он сам. Любовь – это ведь поступки, взять да и съесть, часа два уйдет на все про все, не больше, ну, в крайнем случае, три.

Вторая мысль:

Свернуть голову, этому шесть лет преследующему меня старичку в левом углу моей камеры, потому что, я то думал, что все эти шесть лет моего отсутствия меня в моей голове, этот старичок, только лишь, видение, или сон, а как я проснусь, так его и не станет, но не тут то было, – первое, что после странных ног Жанны М, бросилось мне в глаза, неприятной огненной вспышкой, так это тот самый, мой старичок, который, не исчез никуда, и не остался, там, за чертой моего шестилетнего, вазелинового (вот я и подобрал точное слово «вазелин», точнее и не скажешь, вот где я был шесть лет и полтора месяца, – в маленькой зеленой баночке с вазелином, где в самом центре, этого липкого вещества, утопая ровно по колени, словно в болоте, все эти шесть лет и сорок один день, провел со мной и окончательно ободрал своим взглядом мою лысую голову, этот бородатый старичок, с юношеским лицом, и старыми престарелыми глазами, как у женщины Джаконды, на картине, которую, я еще будучи женатым, собирал вместе с сыновьями из пазлов), и старичок этот, вот он, теперь, здесь, в левом углу моей крохотной тюрьмы, стоит себе и смотрит на меня, взглядом кредитора на должника, и может тогда, мне как раз, взять, что ли, и встать, да и покончить с этой идеей, с этим старичком, шесть, вазелиновых лет не дававшей мне покоя. Свернуть этой дурманящей идее шею, чтобы уже ей неповадно было, приходиться к таким как я людям, и без того с беспокойным характером, и смущать меня, и врать мне, и заманивать меня дешевыми обещаниями, которым цена – слеза ребенка да мельхиоровый крестик, взять да и покончить с ней, ведь делов то, только встать, добраться до левого угла моей камеры, схватить его, а он, кстати, этот поганый старичок, все шесть лет этих, твердит мне, что если буду я, когда-нибудь его душить, или шею сворачивать, то, вроде бы, пожалуйста, сопротивления, не окажет: -Бей меня, убивай, я в чужие дела не вмешиваюсь, хочешь меня убить ? это твое личное дело, тебе решать?, – так говорил мне, этот, из пазлов моей жены составленный, джакондовой вечностью и магазинским картоном, насквозь провазелиновый Господьсоздательвсейвселенной-старичок.

Третья мысль:

Поговорить с ней. Вдруг, чудо, которое еще никогда со мной не случалось (я чудес не видал и в них не верю), а теперь, а ну, вдруг, теперь, в этой странной ситуации, возьмет, да и упадет на меня, как торт крем-брюле, падает на голову господина в шляпе в смешных, комических фильмах, вдруг?! Пойду я, пойду по улицам смешных комических фильмов, пройду не раз, а сотни тысяч раз под окнами высоких домов из фильмов этих, и вдруг.., вдруг, как в этих фильмах и положено, вдруг, из одного, самого неприметного окна на -пятом-вдруг, да и сорвется с подоконника, ко дню рождению маленькой именинницы Риты или Карины, приготовленный, и ожидающий своего часа на подоконнике, крем-брюле торт . Поговорить с ней. Раз в жизни и торт падает на голову, а вдруг, да и случится чудо! Поговорить с ней. Вдруг, она возьмет, да и окажется первым в мире человеком, который способен понять меня от начала до самого конца. Не каждый же день выпадает случай, встретить женщину Жанну М. со странными ногами и, с по-моему вкусу, налитой грудью, вдруг да поймет? Лети, лети, крем-брюле, слушай меня Жанна. Шестьдесят три года я прожил, а так до сих пор, ни разу ни с кем, так чтобы поняли меня, я и не поговорил.

Из этих трех мыслей промелькнувших в моей голове за одну единственную секунду, я остановился на третьей. Но тут был и расчет, потому что, если чего вдруг не выйдет с разговором, если Жанна, из моего детства, М., по какой-либо причине не захочет меня выслушать, или окажется так, что чудо не случилось, и крем-брюле торт не упал мне на шляпу, тогда я спокойно, если никто не помешает (а кто мне помешает, все ведь думают, что я продолжаю спать?), тогда я спокойно и уверенно, не теряя самообладания и не впадая в ярость, но наоборот, очень жизнелюбиво и с достоинством, сначала, откручу голову идее о

жизнипослесмерти-вазелину-мерзкому-старичку, а после, часа за два, ну, в крайнем случае, за три, разжую основные части тела любви моей Жанны М, и уже внутри с ней (любовь – это поступки), я и предстану перед дежурным врачом и санитарями, ну а там уж бог им судья: -Бейте меня, убивайте, я в чужие дела не вмешиваюсь, хотите меня убить ? Это ваше личное дело, вам решать.

– Не нужно меня есть, я тебя слушаю, говори.

Я ведь не слышу, что вы мне говорите, я ведь, семь лет уже не слышу ни ноты, ни колокола, ни сигнала, и даже когда, я спал, даже в банке вазелина, я не единого звука не слышал, и поэтому старичок этот (сломанный будильник моей совести), старичок этот, не к ушам моим обращался, зная, что я глухой, а проповеди свои ?проснись да проснись, не спать нужно, а жить?, спускал холодной струей прямо по моему позвоночнику, так что после каждой его проповеди -проснись, проснись– (будильник без сигнала и звонка), я часа два, а то и три, а то и больше, пять шесть, семь, ходил потом, словно, с мокрыми трусами, словно я обосался, или лежал (я ведь с кровати то не вставал) лежал потом весь мокрый, а санитары и дежурный врач (без десяти минут святой человек), конечно, ничего другого про меня и не думали, как, то, что вся эта вода в моих трусах есть моча. А это она и была (моча), но только не из члена моего вытекшая, а из проповеди, этого старичка спустившаяся по позвоночнику и наполнившая мне трусы, словно садовую бочку, после дождя.

А что можно найти в садовой бочке после дождя, на самом дне этой бочке, на самой ее глубине, что можно найти, что? Июль, – и больше ничего на дне садовой бочки нет. Июль и ничего больше. Июль и ничего.

Ремарка

И на этом, сразу после слов: -июль и ничего-, – первая часть того, что все это время здесь происходило, закончилась, а вторая часть, того, что здесь будет происходить дальше, началась. Лед и бетон навсегда исчезли, им на смену пришел липкий августовский мед, конечно августовский, а не июльский, потому что, как здесь уже и было неоднократно сказано, – в июле меда нет.

– Ну и зачем ты все это делаешь, зачем ты меня развязываешь и выпускаешь на волю, для чего?

– Этого я не могу объяснить, я делаю, то, что мне нужно, и пока что это все.

– Но, то, что ты делаешь, это же риск, для твоей жизни, ты это понимаешь, или ты до конца не понимаешь, к чему все здесь, что ты сейчас делаешь, может прийти?

– Я не знаю. Делаю, то, что нужно и пока что это все.

Ремарка

Неля легла на плоскость и стала лежать неподвижно. Стала лежать. Что она стала делать? Лежать. Лежать на плоскости огромного стола, так как плоскость, на которой оба они находились, несколько минут назад превратилась в поверхность огромного стола, огромного стола, до края, которого, не добраться не кому. Краев этого стола не видно, и то, что под столом, видно, так как перед нами, лишь гигантская крышка, крышка до самого горизонта. Стол. Неля стала лежать на этом столе, как еда приготовленная на ужин, лежит на столе еда, и никого это не удивляет. Еда и должна лежать на столе, что в этом удивительного, стол для того, собственно и существует, чтобы на нем лежала еда.

Неля лежит на плоскости, приготовившись ко всему. Она лежит на плоскости так, что с первого взгляда, становится понятно, – женщина, которая лежит перед нами, готова ко всему, абсолютно ко всему, ко всему, в том смысле, что нет на свете ничего такого, к чему она не готова, – готова ко всему.

Так она сказала, и легла прямо на пол, прямо у моих ног, легла, как лисичка, легла бы под скамейкой, для того, чтобы потом, когда уже все привыкнут, что она тут лежит, и забудут о ней, и перестанут обращать на нее всякое внимание, тогда, она хитрая лисичка, – раз, и переберется на лавочку, а потом и на печку, а дальше, и весь дом займет, а дальше и хозяина дома выгонит на улицу. Он то, ее только под лавочкой пустил полежать, а она, раз, два, три, не успел он оглянуться, как уже и весь дом его целиком занят хитроумной лисой, и где ему теперь, самому законному хозяину дома жить, неизвестно, – знаем, мы эти хитрости, нас на этом, так просто не провести.

– Самое странное, во всем этом, это то, что я ведь могу, встать и просто уйти. Или если он на меня бросится, то я могу закричать, и тогда буквально через десять секунд, здесь появятся санитары, и все эти его мысли про июльский лед, вместе с ним самим, превратятся в кусок кровавого говна. Самое странное, что я могла уйти еще минут двадцать назад, и потом я могла вообще не разговаривать с ним, и что самое, самое, странное, так это то, что я могла вообще не работать в этой больнице, потому что, денег здесь платят мало, а нервов тратиться много. Но, вот я почему-то, лежу на полу, в клетке с опасным, сумасшедшим преступником, с маньяком, которого уже шесть лет держат привязанным к кровати и в наморднике. А я лежу прямо у его ног, подвергая свою жизнь смертельной опасности, хотя дома, меня ждет маленький мальчик, которому я нужна, и который без меня не проживет. Я лежу здесь, вот так вот, как кусок колбасы, который, сейчас съедят, и мне даже поговорить не с кем, потому что, единственный мой собеседник, кроме того, что абсолютно невменяем, еще и глухой. Хотя, если бы он и не был глухим, он все равно, не понял бы, что я говорю, а я, собственно, ничего и говорю, мне, собственно, и сказать то нечего. Я лежу и не понимаю, что происходит, зачем это происходит и происходит ли уже, или только сейчас начнет происходить, или уже произошло, не знаю, я ничего не знаю. Я знаю только одно, я лежу. Я сама, по необъяснимой и неподдающейся объяснению причине, я сама хочу здесь еще полежать, и не уходить, и вообще, побыть здесь, не знаю, зачем, нет ответа, потому что у меня такое чувство возникло, что я долго, долго искала в бабушкиной сундуке, старое подвенечное бабушкино платье, искала, искала, много, много дней и ночей, и лет, и вдруг, нашла. А зачем оно мне, этого я сказать не могу. Но нужно. Очень нужно. Много лет я его искала и нашла. Ну как, будешь ты говорить мне, или на этом все? Что мы делаем дальше, в том смысле, что какие у нас планы, будем мы разговаривать, или сразу примем решение, что на этом все?

Я вижу, вижу, что ты смотришь, в дальнем углу, моего сознания, вижу, как ты смотришь и потешаешься надо мною, вазелиновый старичок. Я, несмотря на то, что занят, сейчас другими делами, с Жанной из моего детства М, я несмотря на это, ни на секунду не выпускал тебя из круга своего внимания. И я видел, как ты смеялся, и кривлялся надо мною. И я, поверь мне, на слово, а можешь и не верить, в этом случае, веришь или нет, мне не важно, я то, после того, как решим мы с этой санитаркой Жанной М, ее судьбу, а этого уже скоро случится, потому что здесь тянуть нечего, так вот я то, после того, как с ней решится, я тогда, без всяких промедлений, решу и твой вопрос. И решу уже, поверь, а можешь и не верить, решу уже не на какое-то время, а навсегда. Потому что, если ты вазелиново-вонючий старичок и есть Господь создатель всего сущего, а я охотно, при охотно, верю, что ты Бог и есть. То я с огромной радостью пришибу тебя, и покончу с тобой, и избавлюсь от тебя и твоей вазелиновой вони, и вздохну полной грудью, и будет у меня праздник великого «Избавления», но будет этот праздник чуть позже, чуть-чуть, по позже, а пока, сиди, там где ты есть, кривляйся, и считай свои последние минуты, есть у тебя еще немного времени быть Богом, используй его с толком и пользой, потому что, скоро уже очень, скоро, не будет не времени, ни бога, а только я и весь остальной окружающий меня мир.

Ремарка

Он лег на нее сверху, она исчезла под его телом. Плоскость больничного пола, в ту же секунду обернулась темной водой.

– И после этих слов, он взял, да и лег на меня сверху всем своих большим пухлым телом. Лег и стал лежать. Я на полу, он на мне, и ни одного поезда не слышно. Тишина.

– Ты меня слышишь, Жанна? Я хочу сказать тебе кое-что очень, очень важное.

– Говори.

– Я тебя увидел, у забора, твоего кажется забора, тебе тогда было ровно тринадцать лет и четыре дня. Откуда я знаю, что четыре дня? Ты мне сказала. Я подошел к тебе, посмотрел на твои ноги, разглядел, что они очень странные, я сказал, – странные ноги, – а ты в ответ, почему-то мне ответила, – что тебе сегодня ровно четыре дня и тринадцать лет. Помнишь?

– Я нет.

– А почему же так, Жанна? Я помню, а ты нет, почему так?

– Потому что я не Жанна. У меня другое имя. Я совсем другая не из твоего детства Жанна М, а из твоей теперешней жизни, меня зовут Неля, и моя фамилия начинается с буквы Д.

– Я тебе верю Жанна, верю каждому твоему слову. Верю, что ты Неля Д., верю, что ты не ты, я верю, но я хочу услышать ответ на свой вопрос. Почему ты ничего не помнишь, Жанна, что случилось?

– Я все помню, кроме того, чего я не знаю. Я ничего не забыла, просто я об этом еще не знала. Расскажи мне, я буду знать, и запомню, это навсегда.

– Это все очень просто, Жанна. Простая история. Для тебя простая, а для меня очень длинная, длинную в пятьдесят лет. Я спросил у тебя, не рано ли? Не рано ли тебе тогда было, в тринадцать то лет, пускай хоть и плюс четыре дня, не рано ли тебе было выставлять перед таким юным (мне тогда и самому то было четырнадцать и не больше) не рано ли тебе было выставлять перед таким влюбчивым юношей как я, свои странные ноги на показ, по-моему так немного рановато, подождала бы девка до восемнадцати, и тогда бы гуляла.

– Пожалуйста, дальше не нужно. Я тебе никакая не Жанна. Делай со мной, что хочешь, но, пожалуйста, стоп.

– Нет, не стоп, а дальше. Ты мне на это отвечала, – на то они и нужны девичьи коленки, чтобы сверкать и слепить ими влюбчивые юношеские глаза. Но не с тринадцати же лет, соплячка, начинать тебе сверкать, передо мною блестящими странными ногами, хотя бы года два бы еще подождала, и уже тогда.

– Не от меня зависит, а от моих ног, когда им сверкать. Не отрубить же мне теперь себе ноги, за то, что они раньше положенного возраста засверкали и вылезли из под юбки прямо тебе на глаза?

– Нет, не отрубать. Но, а мне что делать в таком случае? Я бы хоть сейчас бы взял твои ноги под венец, но ведь ногам то твоим, так же как и тебе тринадцать и четыре, нельзя мне на них жениться, мне и самому то всего четырнадцать (еще два года до паспорта) так что и по закону и по правилам, нельзя.

– Ну, да а если б и можно было жениться, то все равно, я бы не отдала свои ноги тебе в жены, ни сейчас, не в шестнадцать, не в шестьдесят пять лет.

– Это почему же? Разве, я ногам твоим не понравился, я ведь, красивый мужчина, сильный, и умею очень, очень сильно любить.

– Знаю. Я знаю, что ты можешь любить, я это сразу поняла, как только вошла к тебе в палату. И хотя ты лежал весь в говне, и пристегнутый ремнями к кровати, я как-то сразу поняла, что ты можешь очень сильно любить.

– Женские ноги, как красная икра, соблазнительно переливаются на солнце, но при этом остаются все такими же липкими, одна икринка к одной, и даже их стройность и их манящий силуэт в черных колготках, не разъединяет их, – две женские ноги, есть одно целое, женские ноги затянутые в черный капрон, есть само по себе явление, вне всякого тела, вне зависимости, какое это тело, вне зависимости от тела вообще, женские, в черных колготках ноги, есть самостоятельное целое, и поэтому их можно любить отдельно от женщины, которой, они принадлежат.

Ремарка

Не очень долгая пауза прервала их диалог.

– Так много воды скопилось в моей голове, за все эти годы, пока я искала. Огромные глубокие лужи, в моем мозгу. Я бродила по ним в резиновых сапогах, но вода все равно налилась за края сапог, и ноги все равно промокли. А весна все наступает и наступает, становится все теплее и теплее, снег все тает и тает, и воды в луже становится все больше и больше. И я не по колени, я уже по самое горло в воде. И все двери закрыты, и все ворота на замках, и вся любовь, там, за дверьми и воротами, а я здесь по горло в весенней луже, и ключей, чтобы войти у меня нет. И вот теперь Ты. Чудовищный человек, протягивает мне руку, разжимает ладонь. Что зажато у него в кулаке? Чудовище-человек разжимает кулак, у него на ладони – ключи.

– Все Жанна, ты пришла, входи.

– Безумие поедает ложь. Кровь уничтожает неправду. Двери открываются. На смену весне приходит лето, за мартом следует июль, лужи высыхают, вода уходит, двери и ворота открываются, и я могу войти. И я вхожу. И вот вся эта любовь теперь моя. Вот он июль! Вот июль и вот я. Жарко, но терпимо, страшно, но красиво. И резиновые сапоги больше не нужны,

лужи закончились, я пришла.

– Входи, Жанна, располагайся поудобнее, сейчас я буду делать с тобой, все, что посчитаю необходимым.

– Все я пришла. Теперь мне будет предложено, только все самое необходимое. Я ко всему готова, кроме меда, потому что я знаю, что в июле меда нет.

– Сгорело мое сердце, а в нем две собаки. Одна -маленькая шавка, которая все время меня боялась, а вторая, – огромная сучка, которую, всю жизнь боялась я. Все сгорело синим пламенем, ничего не осталось у меня в груди, так что я целый час с небольшим, жила с ледящей пустотой в груди, жила с дырой вместо сердца, целый час с небольшим, дул ветер, святое место в моей груди пустовало, но такое место пустым быть не может, и вот уже в груди моей, появилось нечто новое, может быть новое сердце, а может быть, новые настенные часы с маятником. Качается, качается маятник. Кружится, кружится моя голова. Любовь из грязной весенней лужи превратилась в летний месяц июль. Вода в голове высохла, страхи и домыслы прошли. Я вся стала любовью, я вся и есть любовь. Вот я – любовь, лежу на столе. А любовь, это пища. Любовь – это блюдо на праздничном столе. Вот я, слегка не прожаренная любовь, лежу куском «венского шницеля» на столе в ожидании своего часа. Лежу летней, июльской любовью на сервированном столе и жду своего часа. Жду, когда мною насытятся те, кто любит подобную кухню. Лежу хлебом и вином, на обеденном столе и жду, когда меня съедят. Я ко всему готова. На месте моего сгоревшего сердца святые дары. Делайте со мною, все что необходимо. Я ко всему готова, я пришла.

– Слышишь? Музыка, слышишь, как звучит музыка? Это я играю на своей внутренней валторне. Это мои звуки. Это значит, что я приближаюсь, это означает, что я уже где-то совсем, совсем близко, я уже рядом, я где-то совсем, совсем здесь. Я пришел, я уже здесь, это моя музыка, звуки моей валторны. Все, мы пришли. Наше движение закончилось. Мы готовы к тому, чтобы исчезнуть. Ты готова исчезнуть, Жанна из моего детства М.?

– Меня зовут Неля. Я готова исчезнуть, я ко всему готова. Мы пришли.

И вот тогда, я бросился в верхний правый угол моей комнаты, бросился так быстро, что старичок даже вскрикнуть не успел. Бросился под самый потолок, где он сидел, этот вазелиновый юродивый Бог, и откуда он смеялся и потешался надо мной. Бросился на него, и в одну секунду, а даже и в полсекунды, – в полсекунды уложился не больше, раз, и открутил этой ненавистной идеи, – божественного надзора над человеком, голову. Раз, и свернул Богу, вонючему этому Вечному Вазелину шею, раз, и нет больше этого страшного кошмара под названием строгий Бог, раз, и дыши теперь свободно и глубоко, больше не воняет. Теперь у нас больше не воняет. Все.

Ремарка

Все дальнейшее происходит, как в самом красивом сне. Но все дальнейшее есть не сон, а самая настоящая явь. То редкое, и почти невозможное состояние, когда наяву – красота становится такой прекрасной, что невозможно поверить, в то, что это явь. Но это явь.

Мы слышим мужской голос. Это все словно по радио или через репродуктор. Говорит незнакомый нам мужчина. Мы его не знаем, но тот к кому этот голос обращается, его узнал. Это голос его старшего сына.

ГОЛОС ГЛЕБА: -Здравствуй, папа. Это мы твои сыновья – дежурные из Архангельска. Наконец-то мы смогли тебя разыскать. Много лет ушло на то, чтобы выяснить, куда ты подевался и где находишься. И вот теперь мы едем к тебе, завтра в дорогу – два дня пути и мы у тебя. На самолете, к сожалению, для нас дороговато, зарплата у архангельских дежурных не ахти, поэтому едем плацкартным. Сегодня двадцать девятое, тридцатого мы весь день в дороге, а первого июля мы уже у тебя. Какая радость. Ты, конечно, если бы встретил кого-то из нас случайно на улице, то наверняка не узнал бы. Мы ведь уже давно не дети, а взрослые мужчины. Сашке – двадцать четыре, Олегу – тридцать, а мне Глебу – уже тридцать пять. Взрослые у тебя дети батя, да ведь и тебе уже седьмой десяток, время то летит беспощадной стрелой. Знаем, папа, знаем. Знаем мы о всех твоих бедах и страданиях, не легкая у тебя оказалась жизнь, такого, как говорится, и врагу не пожелаешь. Но, слава богу, что все это теперь позади, и скоро мы все вместе начнем совместную счастливую жизнь. Заберем мы тебя к нам в Архангельск, где мы будем, как прежде дежурить, а ты каждый день будешь на отдыхе.

– А жены то у вас есть, сыночки мои родные, неужели ни один из вас до сих пор семьей так и не обзавелся?

ГОЛОС ГЛЕБА: ?Нет, папа, никто из нас не женат. Некогда нам было ухаживать за женским полом – мы ведь круглыми сутками на дежурстве. Работа забирает все наши силы и все наше свободное время. Но, зато дежуриим мы на славу, и ты можешь гордиться своими сыновьями, лучших дежурных чем мы, нет не только в Архангельске, но, пожалуй, что и во всех других городах нашей родины, а может даже и за рубежом. Что-то, а уж дежурить то мы умеем в рот палец не клади.

– Откуда же у вас такой дар, сыночки, что-то не припомню я в нашем роду ни одного даже самого среднего дежурного, ни отец мой, ни дед, ни прадед, никогда в жизни не дежурили, в кого же вы такие уродились, неужто в мать?

ГОЛОС ГЛЕБА: Не знаем, папа, может и в мать, как теперь проверишь, у мамы ведь не спросишь, она ведь, как тогда ушла из дому, после того, как ты вышиб ей рассудок, так до сих пор и не возвращалась. Может и в мать?

И после этих слов, он сжал руки на моей шее, так что я даже вскрикнуть не успела и испугаться, и потом, еще раз сжал руки сильнее и сильнее, так что у меня весь цвет в глазах пропал, и стало темно, как в самую беззвездную ночь, и потом еще один раз сжал так сильно, как только мог, и все что было до этого на протяжении всей моей жизни, в один миг раз, и оборвалось. Жила была на белом свете женщина со странными ногами Неля похожая на Жанну из чужого детства М, жила, была эта женщина и перестала жить. Еще секунду назад была, а в следующую секунду уже нет.

ГОЛОС ГЛЕБА: -И пока что, папа, на этом, все. Остальное, уже при встрече. Первого июля мы у тебя, готовься к перемене места жительства, собирай вещи, настраивайся на новую жизнь. Целуем. Твои сыновья Саня, Олег и Глеб.

И сразу после того, как не стало этой женщины, а только тело ее со странными ногами валялось веревочной куклой на полу, а где теперь душа не известно, у нее самой то, ведь, не спросишь, сразу же после этого, без всяких промедлений и суеты, вскрыта была кожа ровно под правой грудью, вскрыто было мясо и распакована была ткань, и извлечено было то, чего каждый любящий мужчина просит у любимой своей женщины, и потом отделена была кисть от руки, тут пришлось немного повозиться и пустить свои зубы в ход, но вот уже и второй женский предмет оказался в руках влюбленного. Случилось!

– Я прошу руки вашей и сердца, – говорит мужчина.

– Я согласна, – отвечает женщина, – и вот, уже ее сердце и ее кисть с серебряным колечком на безымянном пальце, мужчина сжимает в кулаке.

И теперь уже пришло время позвать сюда санитаров и святого дежурного врача, для дальнейшего развития всех необходимых событий. А вот уже и они, только мы про них вспомнили, а они уже тут, как тут, – ворвались в комнату, увидели, что случилось, и принялись за дело, то есть за меня, я ведь и есть их дело и любимая работа, качнулся потолок и превратился в пол, но это для меня не новость, для меня новостей нет, как нет меда в июле, а он, кстати, уже и наступил этот долгожданный месяц, приехали ко мне три моих сына, первое июля, все вещи собраны, пора скорее в Архангельск, медлить нам не желательно, а то опоздает моя троица на свое дежурство, пол, потолок да стены, тук, тук, тук.

Ремарка

Пол, стены и потолок в один миг расправили крылья и улетели.

Я не слышу, что вы тут мне говорите, я глухой, я ничего не слышу, и кричать бесполезно, звук в моих ушах уже лет шесть как сломался, а теперь вот уже и свет в моих глазах вышел из строя, накрыло темное небо и не единой звезды, темнота от самого начала и до самого конца, вечный и веки веков нескончаемый июль.

Ремарка

Движение останавливается, природа замирает, ждем. Осень, зима, весна, а потом и лето. Самая середина лета – июль. Все стало другим, но не заново началось, а пошло дальше. -Все пошло дальше. И мы пошли за ним.

НЕЗНАКОМЫЙ МУЖСКОЙ ГОЛОС. Вы кем ему приходитесь, родственники?

ГОЛОС ГЛЕБА. Мы его дети.

НЕЗНАКОМЫЙ МУЖСКОЙ ГОЛОС. Что все трое?

ГОЛОС ГЛЕБА. Да все троя. Можно забирать или нужно подождать?

НЕЗНАКОМЫЙ МУЖСКОЙ ГОЛОС. А чего тут ждть, прямо сейчас и забирайте.

ГОЛОС ГЛЕБА. Ну, что братаны, взяли?

НЕЗНАКОМЫЙ МУЖСКОЙ ГОЛОС. Куда вы его, где будете хоронить то, с местом то уже определились?

ГОЛОС ГЛЕБА. А че нам определяться, в Архангельске, конечно. Батя наш всю жизнь мечтал оказаться в Архангельске, ну вот и сбылась мечта. Куда шел туда и попал. Ну, что взяли? Ну, вот, батя, поедим мы с тобой теперь в наш Архангельск, и чем быстрее, тем лучше. Времени то у нас в обрез, послезавтра на дежурство. Санька, Олег берите за ноги, а я возьму за спину. Ну, что, раз, два, три, взяли. Понесли.

КОНЕЦ

Москва, февраль, 2006 г.